

СЕРГЕЙ БОРОДИН

# УТРЕНЬКА



ОГИЗ • БОСЛИТИЗДАТ  
1942



*Сергей Бородин*

# УТРЕНЬКА

РАССКАЗ

ОГИЗ

*Государственное издательство  
художественной литературы*

СВЕРДЛОВСК - 1942

Широко расставив ноги над срубленным деревом, Фома разогнулся и посмотрел вокруг на лес, где вырос, на небо, под которым рождались, жили и старились его пращуры. Тяжелые ветки сосен сникли к розовой песчаной земле. Земля скрипела под сапогами, горячая, прогретая июльским зноем. Струилась, как дымок, комариная стая, и сквозь гроздь хвой просвечивала чистая небесная синева. Хорошее небо, хорошая земля.

Он вонзил топор в поверженное дерево и сел на ствол, неторопливо набивая трубку. Сказывали: есть на свете земля, жирная и черная, как колесная мазь, питательная и урожайная. Однажды местный агроном вздохнул:

— Вот бы нам такую!

— Не надо. Наша земля богатая... — ответил Фома.

Он знал повадки своих родных пашен, сухих, твердых, рассыпчатых, как морозный снег. Он знал, чем их прогреть, чем напитать, чем засеять. Нет на свете земли милей, чем холмистая Утренька, ибо Утренька — родина.

Высоко в небе, захлебываясь высотой и простором, прошел самолет, и Фома из-под сосен долго смотрел ему вслед.

Он задавил пальцем жар в трубке, сунул ее в карман и встал, чтобы снова чистить сосновый ствол от веток, от старых сучьев. Он остервенело ссекал все лишнее с этого смолистого, ароматного ствола; Фома задумал новый амбар, он хотел поставить тот амбар на краю холма, чтобы с порога виделись явственно и далеко вокруг леса и зыбкие длинные пашни, стекающие к реке, и речной поворот, окаймленный зеленью ивняка и осоки. Кое-где топор оскользался в сочную кору, обнажалась белая, скользкая, гладкая, как кость, древесина.

За стуком топора Фома не расслышал, как невдалеке тропкой прошел небольшой неший красноармейский взвод. Фома поднял голову, когда командир уже остановился около и спросил:

— До Утреньки далеко?

— Верста, — ответил Фома и голосом ли, коротким ли словом намекнул командиру: „Утренька-то, мол, рядом, да незначем вам туда итти, посторонним людям“.

— Чего это ты рубишь?

— Дерево.

— Зачем?

— Для амбару.

— Строиться будешь?

— А чего ж не строиться?

— Да ничего...

Но Фоме послышалось что-то такое в командирском вопросе, что навело Фому на подозрение: будто человек этот чего-то не одобряет. А чего он может не одобрять? Что дерево

срублено? Да ведь на то оно и растёт. Что амбар Фоме нужен? Да куда же без амбара хлеб ссыпать.

— Хлеба зарабатываем много, — пояснил Фома. — Своими руками.

— Я ничего не говорю, — ответил командир и, предлагая Фоме папироску, сказал: — Да вот... война.

Затягиваясь, Фома неодобрительно покачал головой:

— Слышал.

Помолчали.

— А у тебя в армии-то есть кто-нибудь?

— Нету: брат, который без руки, председатель наш, дома. Управляет. А я по годам не вышел. — мне сорок шестой пошел.

— Вот ты как! — Командир докурил и бросил папироску. — Если так от войны отклоняться, трудно нам воевать будет... — И пошел к дороге, где в тени, на жесткой траве отдыхали его бойцы.

Фома снова взмахнул топором. Но что-то пропала охота обсекать бревно. Фома постоял, посмотрел вслед отряду и забежал: „И чего им там надо, в Утреньке? Пойти глянуть, что ли?“

Он засунул назад за пояс топор и пошел к деревне по извилистой крутой тропе. Кое-где из утоптанного песка проступали корни сосен, как ступеньки. Он, перешагивая через них, спустился к реке и берегом подошел к оклице.

Двое красноармейцев, утвердив на треньге медную трубку, смотрели через нее на холм, где Фома задумал ставить амбар; а на холме

стоял третий и прямо перед собой держал полосатый шест.

Несколько дней спустя саперы расчистили на холме гладкую, как ток для молотьбы, площадку.

## 2

Утренька осталась в стороне от боя, но из-за лесов плыл непрерывный грохот орудий. Ночи стали светлы от полыхающих орудийных залпов, словно сплошным потоком из лесу вылетали молнии, либо рушились в лес зарницы.

Давно вывалились из рам стекла. Как больные вубы, расшатались бревна строений. Петухи по дворам горланили безумолку, потеряв счет своего времени. Колхоз угнал в дальние леса на мирные пастбища весь скот, и за молоком бабы бегали с подойниками за тридевять земель.

На полях стояли густые и тяжелые хлеба. Глядя на них, Фома сомневался: „Поспеет ли мир к той поре, как урожаем собирать“. В лесу росли обильно, как никогда, ягоды, но никто не ходил в лес за ними. Малина, переспелая до синевы, сваливалась в траву. Грибы подошли. Никогда не бывало такого изобилия для мирной жизни. Укос вышел такой, что сеном вся деревня на три года завалилась бы. Под коров бы то сено стлали, а пришлось его скирдовать среди поля, на случай, если придет сюда конница.

Пушки рвали небо со свистом и треском, как в красной лавке рвут отмеренный ситец. От самолетного гула, от воя и грохота даже леса потемнели. И войска шли и шли через Утреньку. По ее рыхлым дорогам проходили броневики, машины, орудия. И не было счета пехоте в

круглых, как тыква, шлемах. Скрипели денно и ночью журавели над колодцами, черная бойцам родниковую воду; широкоплечие утреньские девушки, быстроглазые молодухи поили бойцов молоком, совали им в руки печеные яйца.

И вдруг смолкли орудия. И это вышло так неожиданно и негаданно, что каждому подумалось: „Не оглох ли я?“ А через деревню уже шли в обратный путь бойцы, машины, орудия. Армия меняла боевые рубежи, сурово отходила за дальние Кроменские овраги. В леса ушли утреньские стада, тронулись вслед стадам бабы. Ушла и фомина жена с ребятами, ушел однорукый брат — председатель. Вместе с армией ушли многие из утреньских крестьян, погрузив на подводы хлеб, припасы, взвалив на плечи узлы, к поясам привесив жестяные чайники. Но Фома, глядя на знакомые леса, сказал жене на прощание:

— Твое дело бабье, ступай за коровами. А я от своей земли не уйду.

Брат его позвал: „Идем, мол, придет время — вернемся“. Брату ответил:

— Не, я не боязлив.

— А мы от боязни неш?

— Ваше дело.

И остался. Кроме Фомы осталось еще несколько семей, ждать затишья, замиренья, конца войны. Чтоб первыми двинуться на жатву, на урожай.

### 3

На заре, крадучись, в Утреньку вошли немцы.

Командование распорядилось пошарить по амбарам, по сараям, по избам; и десятки солдат по-двое, по-трое кинулись к намеченным объек-

там, наподдавая каблуками двери, сбивая щеколды прикладами и хватая все, что подвертывалось.

Первой завизжала безногая Анисья Клушка. Немцы ее сволокли с перины и под периной обнаружили одежду, припасенную на смертный час, — исподницы, платок, шелковую старинную шаль и позолоченный крестик. Этим имуществом овладели два арийца, и, когда они принялись за дележ, Анисья подняла крик. Ей не замедлили откликнуться из других домов, где тоже гибли заветные лоскутья, и встревоженные этими воплями солдаты поволокли баб наружу, а бабы вздумали пуще орать, царапаться и упираться; и тогда всех их, подбадривая прикладами, стащили в старый сарай на краю деревни, заперли на засов и к воротам приставили часового. Дальше грабить стало вольготнее, и все имущество, покинутое в Утреньке, быстро растасовалось по солдатским мешкам.

На другой день сопровождаемые солдатами бабы и немногие мужики, среди них и Фома, пошли на обширные свои поля копать для немцев картошку. Шли низом, по берегу извилистой Рудинки, заливным лугом, мимо высоких золотистых стогов сена, мимо медных стогов клевера, мимо поспевающих стен тяжелой пшеницы.

Рыли картошку, словно свою душу от тела отрывали, ей бы еще месяц-другой в земле пожить, а то, как младенцев от материнской груди, отнимали мелкие орешки от корня и ссыпали в мешки. Солдаты вели тем мешкам точный и строгий счет. Жителям ничего не оставили, ругались, что лошадей в селе не нашлось, что приходится картошкой грузовики загружать. Ссыпали картошку на грузовики, и ма-

шины ушли куда-то далеко, в тыл германской армии.

Кончили работу поздно вечером. С работы все снова — и вместе со всеми Фома — вернулись в старый сарай и заночевали под мерные шаги часового. Плечи ныли, ночь была холодная, в брюхе урчало от голода, и Фома никак не мог уснуть в эту ночь.

Когда утром снова подняли их на работу, завидев немецкого офицера, Фома громко окликнул:

— Нам бы, господин командир, поесть чего-нибудь. Ваши-то нам...

— Что? — перебил офицер. — Что? Кто решил разговаривать? Отделить и выпороть.

Всех фоминских спутников остановили на площади, а Фому вывели вперед, привязали ему руки вокруг тополя, спустили перед всеми бабами портки и высекли. И не в том боль, что били, а в том, что перед лицом всей деревни оголили, как малого ребенка, и высекли посреди Утреньки, той самой деревни, где любой встречный снимал перед Фомой шапку, как перед умелым работником, как перед серьезным крестьянином... Руки у Фомы покрыты деревянными мозолями, седина прорастает сквозь бороду, а ему штаны спустили и секли. И ни за что, ни про что. За то только, что с хилым этим прусаком заговорил.

И едва от этих мыслей очнулся, его отвели на поле остатную картошку копать. Бабы копали, кончиками платков незаметно отирая с глаз слезы.

Днем их покормили остатками солдатской еды — жидким хлебовом, а к вечеру в село приехали на двух машинах новые немцы, собрали весь парод и принялись допытывать, сколько

было жителей в селе, да куда ушли, да куда свое имущество подевали и почему ничего после себя не оставили, — ни овец, ни свиней, ни даже кур.

Фома, бывало, не охоч был говорить на собраниях, не любил попусту слова терять, но тут встал:

— Дозвольте сказать.

И сказал:

— Я остался. Остался и каюсь. Что это за обхождение! Мы работаем, а нас под замком стерегут, и суточной еды не дается. Это порядок или нет, я вас спрашиваю? Потрудитесь разъяснить.

Немец обернулся к другому немцу, но в их разговор встрял первоначальный офицер:

— Один раз его уже пороли.

Фоме приказали выйти, и двое солдат, вынув пистолеты, отвели Фому в братнин амбар и там заперли.

Ночью он слышал женские крики и сперва думал, что бабы дурят, а потом понял, что кричат красноармейские жены — Катя Жучкова да Рябая Варька. И дождавшись, когда крики их отдалились и смолкли, одобрительно подумал: „Вырвались!“ и, когда солдатские сапоги тяжело топтали в ту сторону — „Тетеля наших баб догонять!“ — Фома нашарил позади амбара гнилые половицы, знакомые ему в этом амбаре с юности, и выполз во мрак.

Он пригнулся, когда, прошумев юбками, мимо него промчалась какая-то из молодых, прополз к огородам, а там, обжигая лицо крапивой, проскочил в чистое поле и ушел вдоль Рудинки, по густым ивнякам, в лес.

Фома знал холмы и склоны своего леса. Были в лесу курганы, густо обросшие молодой порослью, неведомо когда насыпанные, по прозванию Каменные могилы. Были овраги глубокие, заросшие ольхой, и овраги отлогие, где любила разрастаться малина. Он знал холмы, изрытые барсучьими и лисьими норами. И речки, текущие чистой, но желтоватой, как чай, вкусной водой.

Теперь, на заре, Фома не узнал лес. Он ози­рался среди изломанных, измазанных в черноту кустов. Деревья торчали с обломанными вершинами, пробитые снарядами, их вершины висели на ветвях ближних деревьев либо лежали на земле. Земля вся изрыта, истоптана. Зияли глубокие, обширные ямы. Валялись стальные шлемы, желтели на траве россыпи пустых гильз. И так на многие пространства тянулось по всему лесу. И не было в лесу птиц; одни лишь дятлы тупо долбили кору да шныряли по стволам вниз головой серые поползни, посвистывая, бежали вслед за своим длинным носом.

Иногда перед Фомой вырастали среди полян песчаные свежие могилы, засохший веночек на их вершине да березовый колышек с надписью. И, сняв шапку, Фома осторожно, стороной обходил их: кто их знает! А может, они чувят живого человека? Не этих могил, а всего леса, израненного обиженного, опасался Фома: лес ничего дурного никому не делал, а человек с ним так обошелся. Теперь от леса не жди милости. Фома часто приседал, вслушиваясь: ухало что-то; то вдруг прорывался шум по ветвям и катился сюда.

И тогда Фома торопливо снимал шапку, как делал это в мальчишестве, и шептал:

— Батюшко! Это не я. Крестная сила, я тут свой; не я втакое с тобой сотворил.

И стихало, проходило стороной и Фома опять шел, пока не захотелось есть. А есть было нечего. Долго он в малиннике сгребал гроздья ягод; сошел к ручью, напился. И в одном из покинутых убежищ заночевал.

Ночь была страшна. Временами вздрагивала земля от глухих, дальних ударов. Край неба полыхал беззвучными вспышками.

То слышались мягкие звериные шаги. То твердые, мерзые — сапог, окованных немецкими гвоздями. В эту ночь Фома надумал обзавестись ружьем — зверь ли явится, он отобьется от зверя; человек ли придет, придет с оружием — теперь без оружия по лесу человек не ходит.

С утра Фома принялся налаживать себе жилье. Выбрал хорошую цельную стальную каску из множества, валявшихся по канавам. Долго тер ее песком на ручье; принес в ней водицы в свое убежище. Из хвои настелил постель. Устлал ее сверху клочьями истрелянного брезента. Подмел свое жилье; осмотрел со всех сторон, хорошо ли укрыто.

Но кто-то и без него, прежде чем это убежище рыть, уже проверял, не видно ль, и нашел укромное, густое место. Отовсюду оно было защищено, а до ручья близко.

Отсюда перед вечером пошел Фома к Утренке взглянуть, что с ней за это время случилось, и хлеба поискать. И еще одна думка была — не попадет ли где ружьецо какое-нибудь.

Он шел берегом, а на Рудинке уже розовела

речная гладь, и по глади расходились мелкой зыбью круги — клевала плотва. На повороте возле камней вдруг, словно серебряным веслом, ударила большая рыбина. Фома даже замер:

— Ой, батюшки, — улыбнулся, — играет!

А рыба будто дразнила его — еще и еще всплывала то тут, то там.

— Некому тебя поужать.

Некому: ребят на селе не осталось, а Фома всегда делал вид перед мужиками, что считает это занятие баловством, и хотя другие, случилось, засучив штаны, лазили возле берега, вылавливая руками линей и язей, затаившихся между камней, Фома только украдкой завидовал им, сам лазить в воду стеснялся. А теперь праздный, отпавший от земли, отставший от привычной жизни, словно возвращенный к озорным временам ребячества, мог он постоять у воды, послушать, как в детстве, ее вечернюю жизнь, последить за полетом стрекоз в осоке. Но послышался гул мотора, и Фома отошел в ивняк. „Куда ж это их занесло?“ С этого края утренских владений он никак не ждал немцев.

Он пробрался повыше от речного русла и опять постоял, прислушиваясь. Слышались голоса, и вскоре он увидел немцев, грузивших сено на большой грузовик.

— Батюшки! К сену дорвались! Им, что ль, такой укос заготовили!

Фома крался кустарником, приближаясь к просторным своим лугам, и злоба его одолевала: высокие, складные стояли в поле стога. О каждом мог Фома рассказать, кто свозил это сено, кто подавал наверх, кто принимал и уминал

сверху. Так клали, чтоб зиму могли простоять стога, чтоб ни дождь их не промочил, ни ветер не раскрыл. Как золото, сухое и звонкое, удалось в этот год сено. Не для немцев же оно такое удалось!

А они наваливали его в машину, и не по порядку брали, а вырывали из стога клочьями, как волки кобыл рвут. Брали и галдели, будто для них это уготовано.

Фома, лежа на животе на краю поля, доглядел до конца, как увезли сено, как оставшиеся солдаты постояли возле початого стога, покурили—да здесь неш курят!—и потом, пуская дымки от папирос, медленно пошли вслед за ушедшей машиной к деревне.

Тогда Фома тоже вышел и вечеряющим полем, стараясь итти в тени, пошел к длинному ряду стогов, к сену.

Он поднял палец и пощупал в воздухе, откуда дует ветер. Ветер дул к деревне. Тем лучше! Ее отсюда не было видно: она лежала за перевалом. Лишь от дальних, последних стогов можно было взглянуть на белую церковь, стоявшую над деревней в кладбищенской роще. И только дальние, последние стога были видны из деревни. Тем лучше! Фома начал с ближних. Он зажег их трясущимися руками, пламя прижималось к ним, как борода к груди, разрасталось горячо, без дыма.

Быстро бежал Фома. Руки уже не дрожали, когда зажигал четвертый, когда подпалил пятый стог. А их было десять. Ог восьмого он увидел уже церковь, ее стены зарозовели от зарева. В деревне стреляли.

— Палите! Ваше дело.

Он бежал к девятому, когда увидел мчавшиеся в поле машины с солдатами. Но им надо было еще объехать повороты узкой полевой дороги, а пеший Фома двигался напрямик к десятому стогу через бугры и ложбины, через всяческие неровности, столько мешавшие ему прежде при косьбе, совсем незаметные в эту минуту.

Хорошо, что немцы кинулись прежде к первым запылавшим стогам, оттуда им надо еще поспеть сюда. А он уже поспел. Укалывая и обжигая руки, сгреб запылавшую охапку и всунул ее внутрь последнего, десятого стога. Не погасят, нечем им этакое погасить!

Небо потекло багряными потоками зарева, огромного во всю длину поля; поле от края до края покрылось ревом и свистом пламени. И чем яростнее разгорался огонь, чем ярче осветил пожар поле, тем гуще стала тьма, обступившая поле от реки и от приречных оврагов, и Фома кинулся в эту тьму раньше, чем вражеская солдатня до него добежала.

Он завалился в густых кустах у самой реки. Отсюда снизу он видел над черным гребнем берега, как беспрепятственно трепыхал необъятными крыльями красный петух, выпущенный из фомина, кармана. Беспорядочной, яростной пальбой осыпали немцы окрестную тьму.

— Палите,—приговаривал Фома.—Ваше дело.

Он сполз ближе к реке и тронул воду. Струя была тепла и тиха. Он обмыл руки, потер их песком. Кое-где было больно пальцам: обжог или исколол... Потом уткнулся в воду лицом, всей бородой—в теплую, как материнская грудь, воду и долго мыл голову, мыл с радостью, как в детстве, мыл долго, еще и еще. И понемногу

вошла в него какая-то спокойная, какой давным-давно не было, сила. И уверенный, что теперь ни одна пуля его не коснется, ни один немец его не осилит, он не спеша пошел низом, вдоль реки, обратно в свою сторону. Впереди, по верхам леса колебались отсветы зарева, позади грохотала, не переставая, стрельба.

— Сколько пудов свинца теперь изведут! — посочувствовал Фома. — Нехай!

Он пришел в лес, когда с реки поднимался утренний голубоватый туман, когда над деревьями уже светлело нежной прозеленью рассвета. Хорошо и крепко он спал на этой заре, хотя всю жизнь привык подниматься от сна в это время.

## 5

Поздним вечером проснулся Фома, подумал о сгоревших стогах сурово, без сожаления. Не страшно было и вспоминать, как немцы бежали к нему, когда он поджигал десятый стог: „Ну и добежали б, — еще неизвестно, кто кого одолел бы. Ничего особенного в них нет“.

И пошел на дальние поля за картошкой. И не столько ему хотелось картошки нарывать, как еще раз взглянуть издали на луга, где, может быть, еще дымилось вчерашнее пожарище.

Тишина стояла вокруг. Доносились отдаленные артиллерийские гулы, но с ними ухо свывилось, будто и не было этого непрерывно ухающего, тяжелого дыхания войны. А вот синичка недалеко свистнула, и Фома насторожился: „Чего она? Да и синица ль это?“ Но он увидел ее черную головку и пошел дальше.

Он обошел луга красн лсса. Луга были те-

перь внизу. Рудинка далеко за лугами. Кустарники, разросшиеся по лесной опушке, хорошо прикрывали эту колеистую, неровную дорогу, и Фома шел без опасения. Немцы еще возились на поле, и с ними он увидел троих мужиков. Первый, самый длинный, был колхозный счетовод Сашка Абрамов. О нем всегда Фома говорил, что Саша за литровку родного отца повесят. Другой—Пятка Мельник, у которого никогда не было мельницы, а свое прозвище он получил по пословице: „мели Емеля—твоя неделя“ за пустословие. Третий—семидесятилетний Семен Соколик, этот был одинокий, неимущий старик, и с колхозом он не ушел потому, что до последнего дня все говорил:

— Я человек необщественный, я человек пропащий.

Этот Соколик всю жизнь пустяками жил—рыбу ловил, капканы на хорей ставил, зайцев стрелял, помогал по хозяйству вдовам, а своей семьи не заводил:

— Я человек необщественный, семья мне голову скружит.

Так и дожил до семидесяти лет.

Фома понял, что немцы на поле пробыли всю ночь и еще не успели уйти обратно,—видно, опасались, что загорится все поле, всю ночь они окапывали землю вокруг пожарища, а поле обгорело гораздо пространные, чем ожидал Фома.

Долго сверху разглядывал он село. Что-то изменилось в Утреньке. Дома стояли на прежних местах, сараи тянулись, как водится, позади огородов. По другую сторону улицы перед окнами, все налицо, высились амбары. Там Фома и свою погребницу под соломенной крышей раз-

глядел. Но не та была Утренька. Голосу ли ей нехватало — не мычали коровы, не ржали заливисто лошади, не горланили петухи; ребята не копошились посреди улицы. Мерно прохаживался часовой с ближнего краю. Спокойно стоял часовой на дальнем краю. В деревне под деревьями притаились грузовые машины, накрытые зеленым брезентом.

Вдруг Фома заметил солдата высоко на церковной колокольне. Оттуда ему, небось, видно во все стороны, этого надо опасаться. Еще глубже ушел в кусты Фома, он никак не мог повернуть прочь от деревни. Смотрел и смотрел, и никогда в жизни ему не приходилось так вот разглядывать от дома к дому во всех подробностях свою родину; прежде, бывало, глянешь на нее с ходу, между делом, — нечего, казалось, и смотреть в этом насквозь известном месте.

А до чего ж она хороша!

И так захотелось пойти туда и заговорить, расспросить тех, кто остался, как они живут, что слышно нового, что, не будь немца на колокольне, пошел бы.

До вечера, до сумерок, маялся он в кустах, вглядываясь высматривая удивительную нацию, засевавшую в его селе. Он видел, как вернулись с поля бабы сопровождаемые солдатами. Как отвели баб в длинный сарай к околице.

„Этот сарай облюбовали, чтобы один часовой и околицу караулил и женщин. Видать, людей нехватает“.

Он видел, как понесли в тот сарай похлебку в ведре.

Будто свиньям, прости господи, — сплюнул Фома.

Он видел, как вернулись солдаты с пожарища. Саша и Пятка пошли по своим домам, а Соколика отвели в сарай к бабам.

— Видать, им старик не по сердцу! — заключил Фома.

Наконец, в сумерках, когда молодой месяц начал привставать из-за кладбищенских берез, Фома вышел к деревне. Хотелось пробраться к сараю, хоть через стену с людьми поговорить.

Шел с краю от пшеницы, чтобы было где зайти от напрасных встреч. Забрехала клушина собака, но успокоилась. Слышался немецкий разговор и скрип журавеля.

Молодой часовой лежал на околице возле длинного сарая.

Крапивой Фома прополз к немцу поближе, залег в траве.

Увидел около часового короткое немецкое ружье. Вот оно, о чем он давно подумывал. Протяни руку, и оно — твое. И Фома, приподнявшись на локте, протянул руку. Но вдруг, потеряв равновесие, покатился набок, когда пальцы уже схватили дуло не дуло, какую-то скользкую трубку, и, пока Фома вставал на колени и тянул, часовой тоже ухватился за ружье, за другой конец, и взмахнул над Фомой ножом ли, штыком ли, но Фома перехватил его руку, отвел ее и навалился на немца. Тотчас вспыхнула боль: немец, видать, изловчился укусить руку. Этого Фома не ожидал; он поднял щуплого немца, вырвал рукав из немецких стиснутых зубов и со всего размаха ударил в ненавистное лицо прикладом.

Тотчас немецкие руки ослабели.

— Оглушил, — облегченно подумал Фома и привстал. Он, стоя на коленях, снял с немца

сумку, где могли быть патроны, и перекинул ее за плечо. Отстегнул пояс с тесаком и опоясался. Вынимая из бокового кармана табак, Фома вдруг понял, что немец мертв. Этого он не предусмотрел. С удивлением потряс немца за плечо, не жив ли. Как это просто, оказывается.

И вдруг обмер: земля возле захрустела, и человек остановился над ним. Мигом Фома встал на ноги, крепко сжав ружье.

Прямо перед собой он увидел круглое лицо Варвары:

— Дядя Фома, ты?

Фома сплюнул и заворчал. Но Варвара радостно ухватила его за руку.

— Бабы наши бежать норовят! Меня подослали: „Подь, говорят, последи за часовым, а мы покамест в сарае подкоп подроем“. Сил больше нету. Сам должен понимать.

— Ну, иди. Не стой тут.

Но она его задержала:

— Дядя Фома, а его не надо прибрать?

— Пушай лежит. Свои приберут.

— Как он кинжал над тобой занес, у меня душа занялась. А как ты его сгреб-то!

— Пустое дело!

Но оба смолкли и вслушались: невдалеке кто-то крался, — шуршал бурьян, потрескивали сучья, оставшиеся от прошлогодних дров. И не один человек крался!

Затаившись, Фома и Варвара постояли. Шорохи смолкли. Смутно они различили какие-то тени, ползшие к полю, прочь от села.

— Пойду, дядя Фома, — это, видать, наши вылезли.

— Идем заодно.

Они в темноте торопливо, по знакомым изви-  
листым тропинкам догнали убежавших. Среди  
них был только один мужик, семидесятилетний  
Семен Соколик.

— Стой, Соколик! — тихо сказал Фома. А Со-  
колик от этого ночного окрика пуше прежнего  
засеменил ногами. Бабы же глухо притаились в  
кустах.

— Да стой же, Семен Никитич, — схватил  
Фома старика за руку. — Не узнал, что ль?

— А кто ж тебя знает. Фома, что ль?

— Куда подались?

— Мочи больше нет! Ты-то ушел, вон.

— Да и я с вами. Идите за мной.

— А далеко ль?

— А вы-то далеко?

— Только подале отселева.

Фома позвал женщин. Они обрадовались, ус-  
лышав Фому:

— Мы одни; знали б не оставались б! Нешто  
женщин можно так покидать!

Фома провел их к своему убежищу, и хотя  
оно оказалось мало, всем понравилось это укры-  
тое со всех сторон место.

Принялись устраиваться, словно закладывали  
новое поселенье. Укрепили брусья осевшей зем-  
лянки, навалили сверху хвой на широкую тран-  
шею. Получилось три жилья, закрытых от дож-  
дя и ветра и от чужого глаза. Новонайденные  
каска стчистили от песка и грязи, выскребли из  
них все, оставили только стойкую сталь, и нель-  
зя было выдумать ничего лучше, получились от-

личные котелки. А Семен Соколик сделал из бересты такой стакан, что вода в нем держалась, как в стеклянном.

Фома осмотрел берестяной стакан и сказал:

— Разница одна: стеклянный бьется, а этот ничем не разобьешь, — и попросил Соколика наплести по такому стакану для всей артели. — Они у нас для удостоверения будут: у кого есть такой стакан — наш, а у кого нет — чужой. При таком порядке никто не сфальшивит.

— И печати не надо ставить, Фома Фомич, — сказала одна из баб.

— Верней верно, — подтвердил Фома, но заметил, что прежде его в деревне все Фомой звали, либо по прозвищу, а теперь стали величать по отчеству и почувствовал ответственность за всю артель.

— Ну как, девки, кто из вас пошустрей! Пробритесь-ка к огородам, пошуйте насчет овоща. Да чтоб всем вдосыта. А вам, бабы, по череду на всех стряпать.

— Маслица б к овощу-то добыть!

— На первое время солью обойдешься. И то ее мало.

Девчата, замирая от страха, но торопясь, пошли по фомину слову. Страшно им было, но было столь же и любопытно. Назад не свернут.

Фома, оставшись один, раскрыл немецкую сумку. В ней, кроме боевых патронов, оказалась аккуратно завернутая в целофан еда — колбаса, масло, сыр, хлеб. Масло Фома долго не мог открыть, пока не догадался отвинтить крышку маслянки. Вся еда оказалась разделенной на четыре части. „На четыре дня, что ль, запас“.

Фома прибрал еду отдельно, возле своей по-

стели, а сумку с патронами перекинул через плечо и пошел к Соколику, плетшему возле ручья стаканы.

— Не пойму я, Семен Никитич, как ею управлять, — спросил он, показывая немецкую винтовку.

— У меня была шомполка. Тую я знаю, а такой инструмент впервой вижу.

Наконец, они поняли. Вертели, нажимали, и ружье вдруг выпалило. Хорошо, что никого поблизости не было.

Девчата принесли полные подолы овощей и наперебой принялись рассказывать, как они ходили. А над Утренькой видели дым.

— Не пожар ли?

— Вы тут варите еду да сидите тихо. А девки пушай за лесом приглядывают, чтоб не наткнулся кто на вас. Я пойду село гляну, — распорядился Фома.

Еще из-за деревьев он увидел над деревней дым. Вскоре перед ним раскрылась вся деревенская улица, полная немецких солдат. Горел председателей, братнин, дом. Старый, добротный пятиоконный дом, зеленые наличники, белые ставни. Дом еще отцов, в котором каждый гвоздик знаком. Строил его отец, когда Фома был мальчишкой. На чердаке голуби жили, во дворе — ласточки.

И еще горела низенькая трехоконная изба Семена Соколика.

Глядя на пламя, хлеставшее из нутра домов вверх, глядя на огонь, увенчанный серым дымом, Фома скрипел зубами:

— Ну, я этим сукам за дома задам! Я подложу им огня под ядра!

Немцы стояли перед пожаром, огня не гасили. По всему видно — с умыслом жгут, не по нечаянности.

— Самим же, чертям, ночью укрыться негде будет, — удивился Фома. — До чего ж пакостная нация!

Стороной, кустарником и пшеницей, Фома издалека обошел всю деревню, всматриваясь в людей, зажегших Утреньку.

Гнев перекипал в ненависть. С этими мира не будет. Пока эти живы, жизни не будет. Он избил бы их, да с одним ружьем всех не перебьешь.

У реки, куда Утренька за водой ходит, он увидел Клушки дочь — Нину. Девчонка, задрав подол, стояла по колена в воде, и струйки обтекали ей ноги. Фома позвал из кустов. Девчонка опрометью выплеснулась из реки на берег.

— Водяной я, что ль? Чего таращишься? Нинка!

— Это ты, дядя Фома?

— Поди сюда.

Девчонка, оглядываясь на деревню, перешла речку.

— Чего там немцы творят?

— Вчерась убитого солдата нашли. Говорят, его дядя Семен убил, чтоб из сарая вылезти. А подучил дядю Семена наш председатель Кузьма Фомич. Так ихние дома за это жгут. И кто против немцев пойдет, всех жечь будут. Так и сказали, сама я слышала.

Ее долго расспрашивал Фома: ребята лезут везде, им многое видно. И уговорились они и назавтра в это время встретиться для разгово-

ров. Нинке это понравилось: молчаливый, серьезный дядя Фома, которого все ребята в деревне, как огня, боялись, теперь разговаривал с нею, как с ровней, и Нинка почувствовала себя почти взрослой. Степенно перешла через речку назад в село, а Фома долго смотрел ей вслед: сейчас пойдут эти хилые ножонки по всей Утреньке. Куда захотят, туда и пойдут!

7

На возвратном пути Фома заметил в овраге человека. Человек засел за кустами. Фома повалился за пнем и, высунув ружье, крикнул:

— Руки вверх!

— Это я, Фомич! Помилуй!

— Иван?

Оказалось, мужик из соседней деревни, из Орешков. Долго подойти друг к другу опасались: сомненье брало, не немцы ль подослали из леса выманивать. Урожай спеет, немцам для уборки народ требуется. Но договорились на том, что немцы их из леса не выманят. А урожаем немцам не давать.

У Ивана сбоку висел длинный хороший кинжал, найденный в лесу, где, видно, до того было сражение. С Иваном в том лесу хоронился сын Костя да семеро баб. Они поставили березовые шалаши и жили в самой лесной гуще, в овраге. Место было тем нехорошо, что от воды далеко. И Фома позвал их к себе в артель:

— У нас для жилья место отличное. Пещеры нарыты — первый сорт. Можно сто человек квартирами обеспечить.

Уговорились, что Иван со своим народом со-

обща решит, перебираться ли Орешкам в пещеры: пещеры эти, убежище, вырыты на утренней земле, и удобно ли это выйдет селиться Орешкам на чужой земле. Но Фома знал, что не в земле дело, а в том, что Иван без своей бабы ничего решить не мог, она Иваном крутила, как обручом.

— Марье Сергеевне, супруге, кланяйся, — сказал на прощанье Фома, Фома, мол, поклон послал и о здоровье справляется.

— Поклонюсь, — пообещал Иван.

На том и расстались.

Проголодавшийся Фома, подходя к пещерам, почувствовал тихий запах дыма. И сразу повеселело на душе: где есть бабы, там будет и обед. Не так плоха эта жизнь.

Бабы жаловались, что ни соли, ни хлеба у них нет. Что ложек Соколик только пообещал им вырезать. Но Фома заступился:

— Я Соколику приказал стаканы плесть. Справится с заданием, закажу ему ложки. У него ж не семеро рук.

И все подчинились фомину решению, сам же он мучился без ложки, обжигаясь, когда пытался есть похлебку плетеным стаканом. Он достал из угла немецкий рацион и поделил его по кусочку между всеми:

— Попробуйте вражескую еду.

Масло велел в общий суп положить. Церемонясь, помаленьку, женщины распробовали и колбасу, и сыр. От сыра многие отказались:

— Мы этакого мыла в рот не берем.

О колбасе сказали, — что несерьезная она какая-то, сытости в ней нет.

Целофан Фома тщательно свернул и положил

обратно в сумку. Только тогда Фома заговорил о деле, и оказалось, что все этого ждали, а еда и угощение были только для отвода глаз, чтоб хватило времени приготовиться к разговору.

— Верно сказывали девки! немцы Утреньку жгут.

— Неужли ж всю?

— По частям жгут. По заслугам. Твой дом, Семен Никитич, сожгли. Будто за то, что ты в твои годы солдата убил.

— Как прогоним нечистых, так новый срублю. Мне старый дом самому опротивел, — ответил Соко. ик.

— И братнин дом сожгли. За то, что будто брат тут нами управляет. Я им за этот дом кишки выпущу.

— Спуску давать не надо! — одобрили женщины.

— А только силы у нас нет. Женщин много, — сказал Фома.

— А мы не сила, что ль? Ружья нам дай, не хуже немцев этих ледащих воевать станем! Неш это мужчины? В чем в них только душа держится.

— Об оружьи подумаем, — обещал Фома. — А какие воины из вас выйдут, поглядим при сражении.

Бабы после этого разговорились, — каждая хотела поскорей перед другими показать свою удаль. Тут, как на общей работе, захотелось одной перед другой выказаться.

Долго говорили в тот вечер. Одного ружья на всех мало. Надо, чтоб у каждой было свое полное боевое хозяйство. Но как достать эти ружья, еще не могли решить.

Утром караульная девушка прибежала встревоженная, растрепав на бегу волосы:

— Какой-то чужой народ идет по оврагу.

Разом залили огни и затаились по щелям. Только Фома, крадучись, пошел навстречу тревоге. Это, оказалось, Орешки идут. Фома послал им навстречу Соколика. Он привел их к женщинам, и Марья Сергеевна, иванова жена, принялась кланяться:

— Здесь, что ль, фомина артель?

— Здесь, — ответили бабы. — Жалуйте, жалуйте!

— Мы к вам. Не потесним?

— Да чем тесней, тем родней. Располагайтесь!

— Мы к вашему Фоме Фомичу, значит, с просьбой: не примете ли нас к себе; вместе как-то смелее. Да и Фома-то Фомич человек бывалый, знает, как с немцами обойтись.

— Уж он распорол одного.

— Об этом и говорим: человек надежный.

А Фома тем временем проверил, не идут ли за орешкинцами — не дай бог — немцы. Удостоверился. Вернулся к своим.

— Вот и мы, Фома Фомич.

— Милости просим. На колхозной работе вы нас завсегда выручали, да неужели ж в такое-то время...

— Мы вам всегда благодарны были, — если когда выручали мы вас по части рабочей силы, так вы нас чаще того: племенной-то ваш баран, которого вы нам на производство дали, все стадо нам переменял. Ягнят наших видели? Ангелы, а не ягнята, — глаз не отведаешь.

У орешкинцев нашелся хлеб, нашлась и соль. В лес они собирались исподволь. Но надолго этих запасов нехватило бы, и решили, что отсутствующую еду придется промышлять вокруг деревень.

Иван сказал:

— Вот Фоме-то сподручно: у него орудие есть. А нам-то каково добывать, с пустыми-то руками.

— Добудем оружие, — ответил Фома. Заметил, с каким вниманием все слушают каждое его слово, и почувствовал: коли сказал, сделать придется непременно, пустых слов никогда не любил; лишнее слово прощал только бабам. „Добудем“, сказал, а как добыть?

— Как добыть-то, Фома Фомич?

Никогда Утренька не считала себя скуднее Орешков; нельзя и в этом разе ударить в грязь лицом.

— Пойдем и добудем, — заупрямился Фома, — там оно и наше!

А иванов сынишка Костя предложил:

— Они часто по-двое, по-трое промеж нашими деревнями шныряют, там их и взять.

Это показалось возможным.

Собрались итти. Заранее многие в герои набивались, а как дошло до дела, Иван помялся, помялся и попросил у Фомы разрешенья сходить на минутку к дому. Вместе с женой он отошел к своему узлу и начал с ней шептаться. Наконец, Марья подошла с мужем к Фоме и сказала:

— Я Ивана без себя не пущу. Он мне муж и должен со мной находиться. Надо ему итти и мне надо. А Костя пускай дом караулит.

Фома с ней спорить не стал, но велел и из сво-

ей артели двоим итти — Варьке Рябой да дяде Соколику, потому что одеты потеплей других, не так в глаза будут бросаться.

Прокрались зарослями ольшаника, вышли под крутыми берегами к броду.

Затаившись в кустах, слушали.

Долго ждали.

Заслышали солдатский топот, когда давно уже перестали ждать, даже растерялись от неожиданности.

Фома выдвинулся вперед, затаился. Немцы шли краем обрыва. Вскоре над собой он услышал голоса.

Первого Фома пропустил. Во второго — снизу вверх — выстрелил. И понять не мог, как это сразу, само-собой, выстрелило его ружье. Никогда этому не учился.

Первый же немец не побежал назад, а зачем-то стремительно спрыгнул вниз, в речку, и тут на него навалились Иван с Марьей и Соколиком.

Втроем они до тех пор держали немца под водой, доколе он не перестал дергаться. Вымокли все вдрызг, зато шума не было, и за огонь водой заплатили, за пожары, за все.

Так в отряде прибавилось два ружья, две сумки, два противогаза и кое-какая мелочь, затейная и удобная — складные ложки, зажигалка, табак, трубка. Табак намок, требовал сушки. Ложку и зажигалку Фома взял себе, и ему никто не перечил, каждый признавал, что без Фомы этакое дело не удалось бы сделать. Другую ложку и сумку Фома дал не Ивану, а Марье. Зажигалку — Соколику, а брюки — Варьке.

На другой день Фома дождался у реки Нинку. Девочка принесла ему соль и горсть табака, завернутого в бумажку.

— У нас немцы стоят, я у них собрала по щепотке.

— Если заметят, убьют,—сказал Фома.— Станут пытаться, кому табак собираешь. Мы его сами достанем. Говори новости.

Она сказала, что немцы нашли двоих солдат, убитых у брода. В ту сторону ушел большой отряд искать убийц.

— Хорошо,—подумал Фома.— Так и надо: сбивать их с толку, пушай нас в той стороне ищут, а мы с другой придем.

Он опять подождал, пока уйдет Нинка, и быстро вернулся в пещеры. Он дал ружье Ивану, дал Варваре Рябой, велел хорошенько к этому оружию присматриваться.

Марья обиделась:

— Думаешь, коли баба штаны надела, так у нее и мужская сила придет?

— Ты это к чему?

— А ружье-то ей дал!

— А ты и без ружья с нами пойдешь.

— Далеко?

— Куда надо, туда поведу.

— А я, может, не хочу иттить?

— Тогда велю своим бабам, чтоб скрутили тебя да к немцам бы доставили.

— Смеешься!..

— Какой смех! Нонче ты не пойдешь, завтра другая носом водить будет. А вас у меня четырнадцать человек.

— Бабы,— обратилась Марья к собравшимся,— слышали?

— Он дело говорит,— ответила одна из них.

— Слышал, Иван?

— Пришла, так подчиняйся,— ответил муж.

— Дурак ты! Никто на мне воду не возил.

— Ну и ступай одна! Уходи отседова,— твердо сказал Иван.— Слыхала? Уходи! И тут не командуй. И это мое последнее слово.

Впервые перечил ей муж. И так спокойно и перед всем народом. Этого удара не ожидала. Никак не могла понять, что это с мужем сделалось, и растерялась.

— Мне Фома не муж, чтоб приказывать.

— Да я тебе приказываю,— сказал Иван,— собирайся. Куда ведут, туда пойдешь.

— Нет, мне этакую не надо. Дело у нас большое,— остановил Ивана Фома.— Пойдем вчетвером, а четвертым Костя.

Парень, не ожидавший этого выбора, красный от стыда и от радости, зашпешил. Они уже собрались итти, когда Фому остановила Марья:

— Дозвольте уже и мне с вами, Фома Фомич. Я пойду.

Но Фома оставил ее:

— Нет уж, Марья Сергеевна, кроме тебя мне некого тут заместо себя оставить: Соколик стар, а на других не надеюсь. А без нас мало ли что может случиться.

— Твоя воля. Велишь— останусь. Можешь не сомневаться. Все будет в порядке.

— Вот и прощай.

И когда они уже скрылись за кустарником, обернулась к женщинам:

— Я такая: люблю порядок. Фомич заместо

себя меня оставил. Смотри, говорит, чтобы баб без меня не обидели; вся, говорит, надежда на тебя.

— Да что ж он думает: мы за себя постоять не можем, что ли? Еще погляди, как воевать будем.

Долго и горячо говорили: нарастало в них нетерпение поскорее себя проявить в деле. Только никто из них еще не решался искать дела, ждали, чтобы дело их нашло.

А Фома тем временем вышел со своими на тесную лесную дорогу, выбрал место, где дорога поворачивает низом под горой, и там залег в ельнике: отсюда видна им была дорога далеко вперед, их удивила проволока, протянутая в траве. К чему она, понять не могли, но решили, что если протянута она немцами, значит, надо ее убрать, но как ни крутили, долго не могли перервать. Наконец, догадались ножом обрезать.

Молча они пропустили мимо себя шесть грузовых машин, везших какое-то тяжелое вооружение. Шли грузовики под охраной, на каждом сидело по пяти немцев. Долго смотрели им вслед, слушали, как гулко по лесу раздается шум моторов.

Низко прошли над просекой самолеты с белыми крестами под зелеными крыльями: „Дорогу берегут“, — подумал Фома.

Пропустили эшелон солдат, шедший вольным маршем к востоку. Следом промчался мотоциклист.

— Быстро едет, — завистливо сказал Костя.

— Канатом бы их перехватить Патроны целей будут.

— Давай попробуем, — согласился Фома.

Они выбрали место на повороте и через дорогу от елки к елке протянули провод.

— Не высоко.

— Вяжи крепче. В самый раз.

Сидели молча, как на рыбалке, вслушивались: если пойдут грузовики, надо будет спешно провод снять. Если пеших на шоссе завидят, — снять.

Около часа спустя услышали трескотню мотоциклов. Их было двое. Увидели, как на разгоне первый мотоциклист вдруг повернул машину поперек дороги и вылетел далеко вперед, словно машина его выплюнула. А мчавшийся за ним следом второй наскочил на валявшуюся машину и также вылетел из седла далеко вперед. Даже смешно смотреть было.

Не теряя времени, мужики подбежали к немцам. Один был еще жив, но лежал оглушенный. Немцев с глаз убрали, а машины отволокли в овраг и сожгли.

Так прибавилось еще две винтовки, круглые, черные, с длинным дулом и с железной вилкой вместо приклада. Пистолет нашли — взяли. Обмундирование пригодилось.

Так без оружия двоих свалили.

День ото дня прибавлялось в отряде оружие. Даже у баб прошел страх перед немцами: увидели, что хоть и хитры они, а смертны. Что нет от них пощады, нет в них жалости. Что легче их убивать, чем отбиться от них. Смелее стали женщины ходить на поля за овощами, по ночам прокрадывались огородами к своим соседкам, добывали то соли, то у кого-нибудь хлеб окажется.

Однажды Марья заспорила:

— Что мы ходим-ходим, какой толк. Глянь: сколько их. Мы им, как комары,—укуса не почувят.

— Нет для нас другого положенья,—ответил Фома.

## 10

Однажды Иван да Марья и с ними трое утренских женщин все, вооруженные черными немецкими автоматами, пошли на старую дорогу между Орешками и Утренькой.

А Фома с Варварой и с Костей пошли к Утреньке. Не доходя села, они встретили большой отряд немцев, шедший к их лесу. Немцы вели перед собой волков—не волков, серых остроухих собак, и собаки на бегу нюхали землю.

— По следу идут. Нас ищут,—догадался Фома. И все трое они торопливо нырнули в кусты и прямым направлением кинулись к своим пещерам, баб предупредить, чтоб скорее костры тушили да в норы ныряли.

Сидя в норах, слушали: гулко по лесу разносился собачий лай. Встревоженный дятел пролетел поперек поляны. Значит, подходят.

— Не робей, ребята,—сказал Фома бабам:— Первый раз нам, что ль?

Немцы, видно, боялись леса: шли, озираясь, крадучись.

— Бей—не робей!—крикнул Фома и выстрелил.

Яростно завизжала одна из собак. Тотчас заушали винтовки у женщин, и немцы залегли, отползая.

— Бейте, красавицы!—закричал Фома.

И снова немцев осыпали пулями. Варвара вдруг взвизгнула и сползла вниз, в щель.

Вскоре раздалась стрельба откуда-то сбоку.

Собачий лай смолк в отдалении. Вдогонку немцам еще постреляли. Потом вылезли.

Удивительно было, но немцы ушли.

Когда раздались шаги в той стороне, где до того стрельба слышалась, подумали, что немцы вернулись. Но это шла Марья. Она тяжело и молча села перед Фомой и вытерла глаза концами платка.

— Фома Фомич, Ивана моего немец убил.

— Что ты, Марья Сергеевна!

— Так что нет уж его. Там он, на прогалине.

Ее обступили.

— Бабы,— сказала она, продолжая сидеть.— Нет больше моего терпения. Если они от живых жен мужей убивают, нет им от нас милости. Так говорю: бить их за мужей — это наше женское дело. Соберемся мы, солдатки, нынче ночью, а мужиков с собой брать не будем. Сами с ими рассчитаемся. Согласны, солдатки?

Когда ей ответили согласием, она молча повалилась лицом в землю и тяжело задышала, не решаясь ни причитать, по обычаю, ни просто выть по-бабьи.

Только от женщин, ходивших с Марьей, узнали, что, заслышав стрельбу в лесу, они вернулись и обстреляли немцев в спину, когда отряд крался к пещерам, и немцы, бросая ружья, кинулись прочь,— видно подумали, что весь лес наполнен народом, а народу было всего четырнадцать человек.

Тут-то офицер, отстреливаясь, и пробил голову Ивана.

— Говорила ему: одевай шлем,— сокрушалась Марья.— „Не буду, говорит, кастрюльку напяли-

вать". Вот тебе и кастрюлька. А то быть бы живу, Ванюшка!

Между горем она не забыла и о Варваре, сказала ей слипшимся от слез голосом:

— Больно, девушка? Штаны-то тебе, окаянный, пробил. В чем ходить-то будешь?

Фома подумал о том, что, если придется отсюда в другое место переходить, трудно будет с собой все накопленное от немцев имущество переносить. А накопить успели и мотоциклы, и пулемет, две пушки, отнятые у заснувшей прислуги: так и не проснулись. И, слушая постоянную канонаду, далекую, но явственную, Фома послал в ту сторону Костю.

— Иди. Крадись, пробирайся. Найдешь наших, объясни командиру все про нас. Одни, мол, тут женщины, да Фома Косточка между ними. Что бьет Фома немцев за прутики, гулявшие по его спине, за братнин сожженный дом, за все немецкое обхождение. Скажи, что владеем мы великим запасом оружия и даже понять не можем, с какого конца из него стрелять. Пушай пришлют человека принять от нас этот запас и поучить нас. Газет попроси. Бабам кланяйся. Не пужай их: скажи, живем хорошо, спокойно, того же и им желай. Ступай.

Костя не хотел итти от матери в такой час, но она тоже велела:

— Иди. Я сама тут справлюсь. Ты не дитё, пройдешь.

И Костя ушел.

А Фома объяснил Марье:

— Дорога от тревог лечит. Пойдет, позабудет, как отец его помирал. А тут долго скучать будет. Потому его и выбрал.

— Правильный ты человек, Фома, — одобрила Марья.

И когда похолодало к ночи, Марья позвала женщин:

— Ну, пойдем, что ли? Пойдем в Утреньку, пойдем. Я место знаю.

Вооруженные, одетые в мужскую одежду, туго перевязав волосы темными платками, крадучись, подобрались они к сараям. Иные из ворот снаружи приперли кольями, возле иных ворот залегли. Знали: немцы не в избах спят, а в сарае, по взводу на сарай.

Когда пламя взлетело сначала над одной, потом над другой крышей, немцы зашевелились. С колокольни раздалась стрельба. Залаяли собаки, и в сторону огня, во тьму, немцы открыли беспорядочную пальбу, а из ворот поскакали сонные перепуганные арийцы. Их-то и ждали. В иные ворота изнутри сараев неистово колотились и кричали ругательства и просьбы, а сено, на котором спали, золотое, звонкое сено нынешнего урожая, пылало над головами, пылало под ногами, объятые пламенем, валилось на завоевателей. И это был ад, о котором любили говорить проповедники в кирхах, пасторы и пробсты, тот ад, который снился со школьной скамьи и который они несли покоренным народам. Но он рушился на них в пламени падающих крыш и бревен, в пулях, бивших почти в упор, в штыках разъяренных баб, по-двое и по-трое бросавшихся на каждого солдата. Платки их сползли, волосы растрепались, и, озаренные пламенем, они мчались по селу, как валькирии, явившиеся за душами павших и вырывавшие душу из тех, кто еще не успел пасть.

— Амбары жгите!— кричал Фома.— У них там припасы!— и сам приваливал солому к стенам и зажигал. И пылающую охапку кинул он на свою погребницу.

И даже не услышал, когда пуля пробила его.

Так платила Марья за Ивана. Избитая, помолодевшая, искусанная теми, которых выволакивала из-под телег и из-под машин, она охрипла от крика и не могла не кричать.

Когда немецкий отряд, занимавший село, исчез в свете полыхающих сараев, бабы пошли посредине утреньской улицы, закинув ружья, как грабли, на плечи, и запели ту древнюю русскую песню с подголосьем, которую всегда певали, возвращаясь с работы на вечерней заре. Многие из них не пришли обратно, но те, которые пришли, уже знали: не смолкнут русские песни на русской земле.

Редактор *Л. Скорин*

Подписано в печать 31/1 1942 г.

А65109. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> печатного листа.

Тираж 50000 экз. Заказ № 1530

Цена 30 коп.

---

Филиал 1-й Образцовой типографии  
Огиза РСФСР треста  
Полиграфкнига, Свердловск,  
ул. Ленина, 47.

**30 коп**